

# Прекрасная Елена

Мою добрую фею звали Еленой, и сначала она казалась просто старшекурсницей, которую прислали в нашу группу помочь разобраться в мелочах новой жизни.

Я входил в громадное здание факультета и все не мог поверить, что прошел конкурс и что я теперь студент Университета. Она делала диплом на кафедре с волшебным именем «Физиология высшей нервной деятельности». В их тесной, заставленной приборами лаборатории, с белыми крысами в клетках, подшивками журналов до самого потолка, реактивами на полках, легким запахом зверинца, трубочного табака и клея — время останавливалось и весь остальной мир исчезал.

Я приходил к ней каждый вечер, за окном был непроглядно черный парк и синий холодный фонарь, стены уходили в полумрак, а она сидела в круге теплого желтого света, прилаживала электроды к бритым головам покорных крыс или разбиралась в бесконечных лентах, исчерченных самописцами. Мигали и мурлыкали приборы, я заваривал кофе, если его удавалось раздобыть, слушал ее истории, отвечал на неожиданные вопросы, чувствуя, как что-то ломается в сознании. Было страшно и весело взрослеть и понимать себя. И, конечно, когда я влюбился в однокурсницу с прекрасными темными глазами и мне в первый раз в жизни ответили — я сразу поделился с Еленой. В этот день, в первый и последний раз, она была со мной мягка и

снисходительна, а уже через неделю вернулась к привычному безжалостному анализу.

А вообще, странное ее воспитание давалось мне иногда с трудом и внутренним протестом. Елена не делала мне скидок на возраст или романтическое настроение. Однажды она дразнила меня весь вечер, рассказывала про свое тело, про свои желания, потом приблизилась на расстояние поцелуя — и мягко оттолкнула: «Нет, не нужно, просто пойми — мы все зависим от этого. Марш домой, мне надо работать!»

Потом, в апреле, когда асфальт уже почти высох, и оставался только легкий запах талого снега, ко мне домой пришла моя любимая. Она стояла в дверях и не хотела входить, не хотела говорить, а я знал, что она скажет, и не хотел слышать этого.

— Ты знаешь... я люблю его. Я хотела тебе просто сказать, сама.

— Да, понимаю. Зайди, хочешь чаю?

— Не надо, пожалуйста. Он ждет меня внизу.

Я дождался, пока в подъезде лягнет пружина, и тихонько закрыл входную дверь. Выкурил сигарету у окна, поднял трубку.

— Ленка, она приходила ко мне сейчас.

— Все плохо?

— Да.

— Приезжай ко мне.

Мне почти удалось успокоиться в дороге, так знобок и печален был ночной воздух, но когда я сел с ней рядышком, я расплакался, уткнувшись ей в плечо, и не сумел ничего рассказать. Да она и так все знала, конечно.

Мы выпили немножко коньяку и немножко чаю, и когда я снова смог говорить, я сказал ей:

— Я больше никогда не хочу этого испытать.

Елена посмотрела на меня очень, очень внимательно, помолчала и спросила:

— Ты думаешь, ей легче?

— Конечно, легче. Она выбирает... выбрала, — я ощутил какое-то горькое удовольствие от этого уточнения.

— Ты бы хотел быть тем, кто выбирает? — уточнила Елена.

— Да, потому что второй раз я этого не переживу.

— Хорошо, — сказала она. — Ты будешь. Я расскажу тебе все, что надо делать, только это нелегко.

— И... она вернется ко мне?

— Нет. Поверь мне, тебе это будет не нужно. А теперь иди сюда.

В эту ночь я стал мужчиной, и она сумела убедить меня, что в этом нет предательства...

А потом я просто выполнял ее инструкции. Мне казалось, что я понемногу умираю, но меня и так трудно было назвать живым. Зато боль прошла, и уже через неделю я улыбался, а в конце лета почувствовал, что с меня слезла старая нелепая кожа. Потом мы расстались — Елена уезжала в Ленинград, в аспирантуру.

Мы встретились с ней в последний раз перед отъездом, в кофейне около нашего факультета, в прибежище всех бездельников и прогульщиков. Елена курила свои тонкие черные сигареты, одну за другой, болтала о пустяках, целовала каждого второго проходящего мимо, а потом вдруг посерьезнела, затушила очередную сигарету и взяла меня за руку.

— Послушай, мальчик мой, я тебя хочу предупредить об одной вещи.

— Я не мальчик. О чем?

— Ты делаешь ошибку. Я тебя пожалела, а не должна была. Это не твое, и ты рано или поздно это поймешь.

— Постой, что — это?

— Пойми, ты рожден, чтобы тебя выбирали, — она остановила меня жестом ладони, — поверь мне, пожалуйста, на слово, у меня через три часа поезд, я не успею тебе всего объяснить. Я пожалела тебя, как мать жалеет сына, и зря. Приезжай ко мне в каникулы, и мы все вернем на место.

— Ленка, ты знаешь, что я тебя люблю?

— Эту часть можешь пропустить, давай дальше.

— Ты помнишь тот вечер, когда я сказал тебе: «я больше никогда не хочу этого»? Ну вот, я по-прежнему не хочу.

Она помолчала, потом послала меня за следующей чашечкой кофе.

Пока меня не было, Елена достала из сумочки потерянный кожаный стаканчик с двумя игральными костями и поставила его перед собой на столик.

— Мой прадед вырезал эти кости сам, из бивня слона, которого он застрелил в Танганьике, — сообщила она. — Хочешь — верь, хочешь — нет, но возьми их и ни в коем случае не потеряй. Когда ты поймешь, что я была права, они тебе пригодятся. Все, что я тебе обещала, остается в силе, пока ты не передумаешь, а тогда — дай Бог тебе удачи. Не провожай меня, — и с этими словами она встала, наклонилась ко мне, поцеловала в губы и вышла, не оглядываясь. Кто я был, чтобы послушаться?

Обещание свое Елена сдержала. Я почти не вспоминал свою первую любовь. Мы встречались в бесконечных коридорах факультета, здоровались, я шел дальше по своим делам и прислушивался к себе: нет, ничего не просыпалось, кроме странного чувства выздоровления и одновременно опустошенности.

И никогда больше меня не бросали.

\*\*\*\*\*

Прошло довольно много лет.

Моя жена уехала на две недели, к маме, а я остался вести холостяцкую жизнь. Что-то было у нас неладно, и мы оба это чувствовали. Объяснить, что именно, я не мог, и она вряд ли смогла бы, но небольшой перерыв показался нам хорошим решением — конечно, молчаливым, мы даже не говорили об этом вслух.

Была суббота, и мне было как-то странно пусто, не хотелось делать ничего из тех мелочей, которые я уже себе напланировал — ни читать скопившихся умных книжек, валяясь на диване, ни ехать на шашлыки к отцу Владимиру, известному своей святостью, ни даже писать пулю с университетскими товарищами. Не знаю, почему, но я вдруг вспомнил телефон одной моей знакомой — он, если честно, был очень простым, три полных квадрата — 144 и так далее. Я набрал номер, долго ждал, и уже почти положил трубку, когда услышал ее голос.

Она узнала меня сразу, обрадовалась, и никакой неловкости не возникло. Мы осторожно подобрались к главному вопросу — ты замужем? а ты по-прежнему женат?.. На мое «да» она вздохнула, почти неслышно,

но разговор потек дальше. Назавтра мы встретились в небольшом кафе, а еще через день ее смуглая щека лежала у меня на плече, и она пересохшими счастливыми губами шептала мое имя...

Все было в ее жизни очень просто и грустно — мы познакомились незадолго до моей свадьбы, она влюбилась в меня, а потом узнала, что я женюсь, и... да, собственно, и все. Остальное было неинтересно — попытки заполнить пустоту, случайные друзья, два недолгих романа — и мой звонок...

Я никогда и ни с кем так долго не говорил уже много лет. Давно, очень давно мне не было так легко все — разговоры, объятия, смех, самые откровенные воспоминания, фантазии, глубокомысленные рассуждения — и снова смех... две недели кончились слишком быстро, но мы понимали, что не хватило бы никакого времени, и не выпрашивали лишних дней. Только сначала осторожно, а потом все увереннее говорили про будущее. Наше.

В последнее утро она сказала, проведя пальцем по моей щеке:

— Ты знаешь, даже хорошо, что ты сегодня уезжаешь.

— Почему?

— Мне все равно надо в больницу, к моему любимому...

— Кто это? Ты не говорила мне ничего.

— Не нужно это было, милый мой. А сейчас чувствую, что надо рассказать.

Он был старше ее и старше меня. Она была просто еще одной девочкой в его жизни, так он говорил ей. Она ушла от него в тот же день, когда услышала мой голос

по телефону, он пожал плечами и пожелал счастья. А вчера он попал в аварию, и за ним нужен уход. «Только я тебя все равно буду ждать, потому что я — твоя...» Так мы и расстались — она поехала в больницу, а я в аэропорт.

Я не придумал, как посмотреть в глаза жене, и сердце сжалось, едва я увидел ее легкую фигуру и светлую копну выгоревших волос. Она почувствовала неладное сразу, и когда мы открыли дверь и вошли в нежилой воздух квартиры, села на краешек дивана, очень прямо, помолчала минуту и решилась.

— А теперь рассказывай.

Что мне оставалось делать? Я рассказал все, очень коротко, и когда договаривал последнюю фразу, увидел, как слезы текут по ее щекам. Тогда я действительно испугался.

— Прости меня... ну хочешь, не прощай, прогони...

— Куда я тебя прогоню? Ты что, действительно не знаешь, как я люблю тебя? Ты сам уйдешь, — и тут она разрыдалась, и не могла больше ничего сказать, захлебывалась в слезах, я пытался обнять ее, она даже не сопротивлялась, но жизнь как будто ушла из ее тела, можно было с таким же успехом обнимать тряпичную куклу.

Я не знаю, сколько времени прошло. Она лежала тихо, отвернувшись от меня, в комнате уже совсем стемнело, а потом она села с усилием и сказала:

— Ладно. Надо разобрать вещи. Я тебе там привезла всяких подарков...

Тогда я понял, что никуда не уйду, потому что этих слов я не забуду уже до конца жизни, и жить с этим не смогу. А что будет с моей подругой — я тоже не мог представить себе, и не знал даже, что сказать ей.

Так прошло несколько дней. Мы были очень осторожны и нежны друг с другом, и я начинал надеяться, что все прошло, как морок, но утром просыпался с ощущением несчастья и не хотел открывать глаза. Я звонил моей подруге, она была так же ласкова и терпелива, и я не мог сказать ей ничего. Я лгал им обеим, уверяя, что все будет хорошо, и они обе делали вид, что верили мне.

Да, я помнил об игральных костях, но нелепость самой идеи — доверить жизнь трех человек двум кусочкам бивня давно погибшего слона — казалась мне вопиющей. К тому же я не знал, что именно нужно делать, а Елену давным-давно потерял из виду. Но в конце концов однажды я достал кости из ящика стола и положил перед собой.

Долго я смотрел на них, пока вдруг не увидел, что они разные. Одна была чуть светлее, и в руке ощущалась прохладной — вторая, более темная, была тяжелее и теплее. Я положил обе кости в кожаный стаканчик и долго держал его в руке, а потом перевернул на стол — уже заранее готовый, при любом исходе, сказать себе: «нет, я плохо потряс его».

Выпало две шестерки, потом две двойки, две единицы, снова две единицы и снова две двойки. Я машинально бросил кости еще несколько раз, а когда вероятность упала ниже одной миллионной, убрал их в ящик стола. В этот момент тренькнул телефон. Это была моя подруга — она позвонила мне сама в первый раз.

— Ты знаешь... прости меня, пожалуйста. Я люблю тебя, но я нужнее ему, — сказала она без предисловия. — Просто помни меня, ладно?

Это я мог обещать с чистой совестью.



Вечером я достал из бара бутылку тридцатилетнего коньяка, которую подарили нам на свадьбу друзья, и открыл ее. Жена не спрашивала ничего, пока я разливал коньяк в две серебряные рюмки. Я долго смотрел на нее, потом и она подняла глаза.

— Знаешь, — начал я и замолчал, подбирая слова.

— Наверное, да, — ответила она тихо. — Ты ведь вернулся.

Мы немножко посидели, чувствуя, как тепло от коньяка поднимается к сердцу и к голове. Я пересел к ней на кушетку и обнял за плечи.

— Когда ты будешь говорить с ней, — сказала жена, — скажи, что я поняла сегодня одну вещь. Я не могу ее ненавидеть. Ведь она любит тебя.

— Скажу. А потом, когда-нибудь, я тебе расскажу одну очень старую и глупую историю.

— Про что?

— Про фей, про слонов... я еще не знаю. Только давай я сначала вернусь к самому себе совсем.

# Театр

Монку опять не спалось.

Особых причин не было. Работа — да, работы пока не предвиделось, но полгода-то он протянет и так, даже особо себя не ограничивая. А вот апатия — это было хуже. Сначала он не обращал внимания: ну, неохота идти в гости, лень выбраться погулять, не читается. Бывает, и раньше бывало. Утром он с тоской возвращался в мир, пытался поспать еще полчаса, еще, пока однажды не испугался всерьез.

Вставать он научился, а вот засыпать — нет. Тупо сидел то перед компьютером, то перед телевизором, или просто на кухне перед чашкой чая или рюмкой коньяку, следя будто со стороны за медленным течением мысли через собственную голову. Потом выпивал последнюю рюмку, ложился спать — но сперва читал, точнее, перечитывал что-нибудь старое, давно знакомое. И понял в какой-то момент, что и этого не хочется: он все прекрасно помнил, погрузиться в текст так, чтобы забыть сюжет и переживать все заново уже не получалось. Положил «Историю Тома Джонса» рядом, благо кровать была по-прежнему широкая, и задумался всерьез.

Что-то было не так, пропал вкус к жизни. Оттого ли, что все было слишком легко и гладко? О чем-то он уже не мечтал, смешно же в его возрасте мечтать о возвышенной любви на всю жизнь или о необыкновенных приключениях. Стать мультимиллионером или удивить мир тоже как-то не получалось, свои способности он уже знал. Возможно, в какой-то момент он перестал

искать новые вызовы, делал то, что получалось хорошо. Странно, подумал он опять, ведь нас учили, что это и есть правильная добродетельная жизнь; отчего же такая тоска?

Постоянной женщины у него давно не было — раз в пару недель он созванивался с кем-нибудь из старых друзей, беседовал, с трудом входил в их жизнь, изображал сочувствие и интерес. Обычно получалось уговорить на чашечку кофе, или у него, или где-нибудь в городе, потом заезжали в мотель, он был разговорчив, обаятелен, как всегда. Как когда-то. Как обычно, в общем — в этом-то и ужас. Сегодня он в последний момент сослался на грипп, отбился от искреннего предложения помощи, и вот лежит с книжкой по левую руку и не может уснуть, а время уже подходит к двум.

А собственно, подумал он вдруг, зачем я лежу и пытаюсь уснуть? Мне не нужно завтра никуда, меня никто не ждет ни в 9, ни в 10, почему бы мне не встать и не поехать в город?

\*\*\*\*\*

В центре было на удивление много свободных стоянок. Монк поколебался, проехал целый круг, все не мог решить, где же остановиться. «Точно буриданов осел», — подумал он устало и наконец вывернул к тротуару.

Влажный воздух коснулся щеки — в городе было потеплее и даже неуловимо пахло морем. Он двинулся вдоль темных витрин, потом вспомнил: «Запереть машину!», нажал в кармане на кнопку, машина деликатно библикнула и пыхнула фарами. Он вдохнул поглубже и направился без цели по мокрому тротуару.

Вскоре кровь разогналась, щекам стало тепло, он шел с удовольствием — зачем он, спрашивается, столько времени лишал себя этой радости? Подумалось — еще бы мне длинный плащ, шляпу и трость, и можно было бы представить себя в Лондоне, на какой-нибудь Риджент-Стрит. А почему бы и не поехать в Лондон, кстати? Наверное, там ночная жизнь немного повеселее: здесь он пока встретил двоих мрачноватых прохожих и прошел мимо одного открытого бара-стекляшки с мерцающим телевизором и несколькими зомби за стойкой.

Так размышляя, Монк вдруг остановился, сказав себе «стоп», и сделал три шага назад. Ну да, конечно, он почти проскочил этот узкий проход между домами и теплый свет из глубины двора. Он прошел между толстых боков двух солидных трехэтажных домов, не удержавшись в середине и вытянув руки в стороны — нет, все же не доставал до обеих стен — и похлопал себя по карманам в поисках сигарет: у входа стоял то ли охранник, то ли билетер, и красная точка вспыхивала перед его лицом.

Монк достал наконец сигарету, размял по старинной привычке, взглядываясь в лицо привратника. Тот протянул зажигалку. Пару затяжек помолчали.

— Двадцать долларов, это ночной клуб, — сказал наконец парень. — Вы заходите или как? А то я сейчас закрываю, программа уже начинается.

Монк залез в задний карман джинсов, достал двадцатку, сторож взял ее, рука сомкнулась, раскрылась уже пустая.

— Проходите, — и он приоткрыл дверь.

Спустившись по трем ступенькам, Монк отодвинул бамбуковый занавес и осторожно ступил в темноту. В зале люди сидели все больше по двое, что-то щипали из

тарелок, беседовали, склоняясь над свечками. В конце зала музыкант за роялем перебирал ноты, саксофонист стоял рядом, протирал платком мундштук. Тут рядом возник метрдотель, проводил его к ближайшему столику, положил перед ним закатанное в пластик недлинное меню, кашлянул и спросил:

— Официантку вы какую предпочитаете? Вон они все сидят, — Монк перевел глаза на противоположную стену: четыре девушки в похожих платьях сидели на скамеечке, три беседовали, а крайняя левая неотрывно смотрела на него.

— Да неважно, — попытался было он отбиться от выбора, но метрдотель отвечал твердо: — Важно.

— Хорошо, тогда попросите... ну, хотя бы вот первую слева.

— Очень хорошо. Ее зовут Кэти. Одну минуту, — мучитель как-то мгновенно оказался возле девушек, склонился к уху, и Кэти, чуть дрогнув улыбкой, встала и подошла к столику.

— Добрый вечер, — голос тихий, чистый. — Что вам принести выпить?

Монк заказал «маргариту», принесли мгновенно, и отхлебнув пару глотков, он оглядел зал. Что-то показалось ему странным, и он не мог понять, что именно его так озадачило, пока одна из посетительниц не встала из-за столика, и, подхватив поднос с пустыми стаканами, не понесла его к задней двери. Вот в чем дело, сообразил он: по крайней мере еще две из сидевших были официантками. «Бог мой, куда я попал?» — возникла мысль, но было так тихо, уютно и спокойно, что он решил не беспокоиться ни о чем.

Заиграла в дальнем конце музыка, тихий блюз, и снова подошла Кэти.

— Что-нибудь еще принести?.. — он растерянно смотрел в меню, ничего не понимая. Кэти медлила уходить, и он решился:

— Вы не хотите посидеть со мной? Выпить что-нибудь?

— Да, конечно, — просто ответила она. — Только безалкогольное, ладно?

Он кивнул и добавил, сам на себя удивляясь:

— Приходите скорее.

Вскоре она появилась, со стаканом апельсинового сока, спокойно и без смущения села напротив него, отпила глоток, все так же глядя ему в глаза, и после паузы попросила:

— Расскажите о себе.

Давно Монку не было так легко и просто. Кэти слушала, не перебивая, иногда вставляла вопросы, и он в какой-то момент вдруг осознал, что все не так тоскливо в его жизни. Она принесла ему еще одну «маргариту», они посидели, помолчали без неловкости, и Монк спросил:

— Так что, вы думаете, мне надо делать? Вообще, в жизни?

Она улыбнулась опять, потом посерьезнела. Некоторое время сидела, видимо, подбирая слова, наконец заговорила.

— Мне кажется, что какие-то не очень добрые силы облегчают вам жизнь, как умеют. И вы в определенный момент пошли им навстречу.

Монк не очень понял, но Кэти продолжала:

— Они ведут вас по течению, аккуратно, обводя вокруг острых углов. Все бы хорошо, но пропадает желание плыть против течения. Это плохая помощь.

Пара за соседним столиком встала и направилась к выходу, девушка в той же униформе, что и Кэти. Выходя, она задержалась на минуту, о чем-то поговорила

с метрдотелем, потом вышла, и бамбуковый занавес сомкнулся за ней.

«Как просто», — подумал он, уже зная, что решится, несмотря на холодок в животе. Поднял глаза на Кэти.

— Мне надо идти... может быть, пойдёмте со мной, мы не договорили, — и почувствовал, что краснеет. Бог ты мой, я еще могу покраснеть, подумал он растерянно.

Кэти вспыхнула, улыбнулась, он протянул руку и коснулся ее пальцев, неожиданно холодных.

— Правда, — зачем-то добавил он.

— Хорошо, конечно, — сдержанно ответила она. — Вы подождете меня десять минут? Мне надо закончить дела и одеться.

Монк кивнул, проводил ее глазами и нащупал в кармане пачку сигарет. Курить здесь, конечно, нельзя, а страшно хотелось. Он посмотрел на часы, оставил деньги на столе и поднялся из-за столика.

— Доброй ночи, сэр, — поклонился метрдотель.

— Я вернусь, выйду только покурить.

— Да, сэр, Кэти будет вас ждать, — он еще раз поклонился и деликатно отвернулся.

\*\*\*\*\*

Монк вышел на улицу узким проходом, и влажный ветер снова ласково ударил в лицо. Он закурил, и с каждой затяжкой морок рассеивался. Он опять как будто смотрел на себя со стороны и не мог понять, чего ему хочется.

«Что я делаю? — вдруг оформилась в голове мысль. — Бедная девчонка, зачем ей-то это нужно?» Он колебался недолго, решительно развернулся и направился по подсыхающему тротуару к машине.

Через полчаса, засыпая, он только успел подумать о неизвестных недобрых силах и пробормотать: «Утро вечера мудренее».

\*\*\*\*\*

— Кэти, мне очень жаль, но, значит, это был не твой шанс. Ночь скоро кончается, выйдешь в зал?

Она помотала головой: нет.

— Как хочешь. Следующий будет нескоро.

\*\*\*\*\*

Монк остановил машину у тротуара. Здесь это, что ли? Он не узнавал место. Бросил машину с мигающими лампочками и прошел между двух домов.

Двое рабочих загружали сзади тяжелые нелепые сундуки в белый фургон. Третий сдирал со стены афишу «Театр марионеток» — еще видны были пальцы в белых перчатках, ведущие на ниточках изломанную тоненькую фигурку. Лязгнула задняя дверь, фургон, рыкнув, тронулся с места — Монк отступил на шаг — и протиснулся в тот же проход, обдав всех на прощание гарью.

Монк постучался в глухую дверь, изнутри что-то невнятно крикнули. Через полминуты дверь открылась. Незнакомый простоватый мужчина средних лет слушал его невнимательно и наконец ответил:

— Мы работаем ночью, заходите после десяти. С сегодняшнего дня у нас новая программа.



# Дождавшийся

Я живу в этом доме не первый год и уже почти перестал надеяться.

Здесь столько лестниц, чердаков, подвалов и чуланов! Это то, что знают хозяева; а сколько всего знали только строители, пока были живы. Пустоты между стен, наглухо зашитые переходы, воздуховоды, забытые и замурованные каминные трубы. Дом скрипит, когда задувают осенние ветра, дрожит электрическими жилками, искрит, хрипит водопроводными трубами.

Когда хозяин поднимается по лестнице, ступени скрипят у меня над головой, а доски на мгновение расходятся, и я вижу тонкую полоску света. Я затаиваю дыхание, больше по привычке — он глуховат по нашим меркам.

Внуки приезжают нечасто, и с ними сложнее. Старшему — восемь лет, он уверен, что в доме спрятан клад. В прошлый раз я отступил почти до последнего своего убежища в старой каминной трубе. Может, он немного потолстеет и не сможет больше протискиваться в лаз вдоль края крыши.

А когда хозяин уезжает, я смотрю в окна. Направо, налево, вперед и назад — везде одно и то же: дорожки, посыпанные желтым песком, клумбы, вечнозеленые сады. Весной они цветут белым облаком, к зиме ветки обвисают под тяжестью оранжевых плодов. Зимой они осыпаются и лежат на земле, но недолго. Слетаются

птицы с крепкими клювами, рвут кожуру, упираясь морщинистой лапой, глотают куски, запрокидывая голову к белесому небу. Мне страшно, я знаю, что любая из них справится со мной шутя.

Я быстро устаю от мельтешения пестрых красок за окном. Закрываю глаза, но это не всегда помогает. Бывают дни, когда под веками все вспыхивает еще ярче. Зеленая трава, назойливая, кричащая, широкие яркие пластины угрожающе колеблются передо мной. Я боюсь обрезать о зазубренные края. Цветы распускаются на глазах, из центра выплывает, кружась спиралью, бесконечный узор, красный-розовый-желтый, красный-розовый-желтый, красный-розовый-желтый, и так до тошноты. От запаха голова тяжелеет. Вдруг становится слышен стрекот — да он всегда был, это цикады, они доходят до предела и обрываются, чтобы снова и снова начать. Забыть про них, забыть — и не будет слышно... нет, не получится, не забудешь. Я убегаю в глубину дома, в чулан под лестницей на второй этаж, через отдушину во внутренний лаз, вдоль водопроводной трубы, следуя изгибам, вверх по опорной балке, туда, в самое тихое место. Боже, зачем, как избавиться от этих всплесков под веками, в ушах, от вверчивающихся в голову запахов?

В детской нет настоящего комода: когда-то хозяин обустроивал эту комнату для сына, прикидывал, соорудил — как вместить мебель под этими скошенными потолками, и так и врезал ящики прямо в стену. Теперь в этой комнате никто не спит, уже давно, и комод не трогает. В верхних ящиках лежат детские сокровища, пожелтевшие бумажки с картами дальних островов, бейсбольные карточки, самолично собранная «Звезда смерти» из разноцветных кубиков. Я стараюсь не смотреть туда, мой ящик — второй снизу. Замок сломан, и

ключ потерян навсегда, сюда никто не заглянет. Только ко мне, в мое убежище, они топорщатся изнанкой.

Но как же, как же меня занесло сюда, в этот край вечного лета, которое толчками бьется мне в виски, до тошноты? Я помню, что помнил когда-то, но уже давно не могу поймать эту память.

\*\*\*\*\*

Меня будит на закате шум машины. Хозяин въезжает во двор, но он не один. Вслед за ним заползает осторожно грузовичок — сосед заехал на вечерний стаканчик. Они поднимаются по ступеням, отворяют дверь, идут не спеша в гостиную: половицы прогибаются у меня над головой.

Они озабочены, особенно сосед. Хозяин успокаивает его. «Послушай, ты апельсины на продажу не растишь, — возражает сосед. — А многие не успели собрать еще». Я ничего не понимаю, но его беспокойство заражает и меня. Он сидит недолго и уходит. Его шаги еще тяжелее, чем у хозяина.

\*\*\*\*\*

Я просыпаюсь от слова «иди!» Кто-то произнес его, я ясно слышал, но вокруг, как всегда, никого. Я не могу понять сразу, что именно, но что-то в мире изменилось.

Наконец я понимаю. Это тишина. Полная. Не свистят цикады, не скрипят половицы, не шумит ветер в кронах. Я оглядываюсь. Странный свет сочится из-под двери. Я проскальзываю на первый этаж и вылетаю на круговую террасу, заставленную старой мебелью.

Луна, абсолютно круглая, сияет в зените. Все вокруг бело, сколько хватает глаз.

\*\*\*\*\*

Я мчусь на север, едва касаясь земли. Моя синяя  
тень летит подо мной. Я знаю, что дорога очень дальняя,  
но мне не страшно. И теперь не будет никогда.

# Калейдоскоп

На первой лекции он сел подальше, чтобы видеть всю Большую аудиторию. Первый раз он был тут во время вступительных экзаменов, но тогда глаза застило, мелькали лица, резкие звуки и запахи, мир рассыпался на пятна, и ручка выскальзывала из вспотевших пальцев. Он не увидел тогда ничего — ни лепного потолка, ни затейливого рисунка древесных колец на основательных столах, ни полотна с тучными колхозными корами, грозно дыбящегося с задней стены.

Она вошла и села на ряд ниже. Ему был виден мягкий профиль, матовая кожа, вьющиеся темные волосы. Они всё падали на лицо, и она поправляла их машинально, приоткрывая ухо. Он запомнил жест, нетерпеливую гримасу, оспину на плече, тонкий ремешок часов. Голос, когда она обратилась к соседке, порывисто наклонившись. Обе засмеялись негромко и преувеличенно внимательно уставились на доску.

Звук крошащегося мела и сухие монотонные интонации лектора. Металлическое позвякивание слайдов, урчание электромоторов, опускающих портьеры и экран. В полумраке — теплые круги желтого света у доски.

Через неделю ее не было, он осмотрел всю аудиторию. Хорошо, подумал он разочарованно, можно будет сосредоточиться. С этим была проблема.

Он помнил, как это началось: первый вступительный экзамен, математика. Мама провожает его до дверей университета, он слышит ее голос, но слов не различает. Откуда этот металлический звон и жужжание в ушах? Почему в запахах бензина и горячего асфальта врываются ноты пионов и флоксов? Из какого они лета, какого года — может быть, того, перед школой, когда няня зовет его с крыльца, через сад, и пора идти на ужин?

\*\*\*\*\*

Колонны из розового гранита — ладонь помнит их холод. Разбивающийся на ноты звук. Распадающиеся на элементы запахи. Тяжелая входная дверь: латунная ручка, вытертая до блеска под руками и потемневшая ниже. Отблеск стекла, выщербленная плитка с вросшей грязью, железная решетка калорифера, хромированные полозья ведут неумолимо к вахтеру: пропуск! Синяя книжечка, золотая надпись вдавлена небрежно — краска выплеснулась из второй буквы за край. Но она еще хранит драгоценный запах типографии, еще не потерт корешок и ни одной нитки не выбилось из коленкора.

И вот уже врывается легкая нитка хлора оттуда, почти из преисподней, тремя этажами ниже, куда так легко сбегать, прыгая через короткие для этого громадного дома пролеты и держась за дубовые, изнемогающие от собственной тяжести перила. Один-два-три-четыре-пять-шесть — и в уши ударяет слитный гул голосов, свистков и плеска воды.

Бассейн, он почти забыл его с тех детских лет. Тогда после бассейна и после другой, горячей и расслабляющей хлорки — в душе, где звуки теряются в тумане и ходят старшие мальчики с убедительно чернеющей

шерстью, перекрикиваясь с громовым ржанием, после холода и сырости раздевалки, скорее вытереться и одеться — там мама ждет за углом, терпеливо сидит на скамье, глядя незряче в книгу. А потом идти небрежно рядом, с сумкой за плечом, и все ближе запах кафе на первом этаже, запах горячего бульона и слоеного пирожка.

И снова двери, но уже безопасные, без вахтеров, и рядом кричащее и дробящееся красно-черное объявление, написанное плакатным пером. Их учитель рисования, невзрачный немолодой мужчина, однажды сумел коснуться живого — когда учил их писать плакатными перьями. Запах гуаши и скрип ватмана, волшебство проявления букв, и последняя лихорадка, когда ластиком убираешь подпорки линейек. Тогда он понял, как делается красота, и навсегда остался ошеломлен.

\*\*\*\*\*

Отчего же, думал он, все рассыпается на элементы, что стало с непрерывностью? Впрочем, о непрерывности думать стало сложнее, красота математических определений вытесняла простоту незнания.

Она пришла наконец на ту же лекцию. Оглядела аудиторию, встретила с ним взглядом, заколебалась, подошла.

— Можно тут сесть?

Он задохнулся, смог только кивнуть. Всю неделю он думал, как она войдет и равнодушно посмотрит, и уже успел пожалеть свою разбитую жизнь много раз.

Теперь он смотрел на плавный профиль и вымерял его глазами, чем-то иным впитывая отношение частей и целого, углы, линии сопряжения и оттенки смуглого.

«Меня зовут Мария», — сказала она, он назвался в ответ и закашлялся. Мария чуть улыбнулась и принялась расспрашивать — что она пропустила и нельзя ли взять у него потом конспект.

Потом они дошли до метро, это было бесконечно долго, и все успело измениться. Он постепенно начал понимать то одну, то другую связь — горького запаха хризантем и утреннего заморозка, скрипа перчатки и холодка ключа, промозглости стеклянной остановки и теплого уюта автобуса.

Через неделю он взял ее за руку, провожая домой. Через месяц поцеловал у дверей, в сладком обмороке, и два дня они не решались заговорить друг с другом. И когда уже лежал первый снег, и остро пахло холодом и сиротством, они остались вдвоем у нее. Где были родители, он не знал, а знал главное, что до воскресенья их не будет.

Они целовались до одури, сидя на скрипучем диване в гостиной, и изучали друг друга несмелыми пальцами, и в какой-то момент даже устали. Он отодвинулся, глядя на нее, на растрепанные черные волосы, испарину на припухшей верхней губе.

И вдруг он заговорил о том, каким был мир за минуту до нее. О том, как он дробился, рассыпался, как исчезала опора. Как казалось, что вот из этих кусочков, элементов, корпускул соберется что-то, что наконец можно будет понять, принять, обрадоваться ему. Он рассказывал долго и наконец замолчал, сказав все.

Мария молчала, а потом рассказала о своем — о пятнах цвета и вспыхивающих запахах, о чужой воле, проплывающей через сознание, о вкусе каждой молекулы и о том, как они отталкивают друг друга, о шершавой дыблящейся поверхности рукояток и перил. О том, как



смысл исчезает в буре ощущений и обещает вернуться новым, взрослым и непобедимым.

Потом поднялась, что-то кошачье было в ее движении.

— Идем! — вцепилась ему в руку, и он пошел за ней, по темному коридору, а мир вокруг складывался наконец в совсем другую картинку.



# Рассказы о рукописях





# К истории возникновения семиотики

В первый раз я услышал это слово при внешне невинных обстоятельствах.

Была летняя практика после первого курса, под Москвой, на биостанции Чашниково. Однажды на выходные приехали к нам гости, уважаемые патриархи с третьего курса и даже непостижимо старый (ему уже стукнуло двадцать пять!) великолепный Дима Орленев, выпускник прошлого года, стажер на кафедре орнитологии (название должности прямо как у Стругацких), с медальным профилем и небрежными кудрями.

Мы отправились на речку, через экспериментальные поля с какими-то редкостными гибридами, ваялись на берегу, пили пиво, привезенное из Москвы дорогими гостями, болтали о чем-то, и уже не припомню даже, с чего начался этот разговор. Кажется, кто-то рассказал анекдот с нехорошим словом, девушки выразили недовольство, и Орленев вступился за рассказчика.

— Милые барышни, — произнес он своим неподражаемым бархатным голосом, — это ведь семиотический анекдот.

— Какой? — недоуменно спросили барышни.

— Семиотический. Есть, знаете ли, наука, которая, в том числе, занимается и такими словами.

— Это что же, наука о матерных словах? — любопытно спросил друг мой, будущий отец Владимир.

— Эх, Вовка, — отвечал Орленев покровительственно, — не так все просто. К примеру, сколько ты знаешь матерных слов?

— Я — все! — возмущенно отвечал будущий о. Владимир и под смех прочих бездельников перечислил свой запас, не стесняясь девушек, которые, впрочем, демонстративно закрыли уши.

— Неплохо для твоих лет, — одобрил его Орленев (Вовка был неприлично юн, на год младше остальных, и очень злился, когда ему напоминали об этом). — Итого где-то десяток, да? Казалось бы, ерунда — десять слов. А теперь прикинь, сколько разных смыслов можно выразить этими словами! Был я тут на семинаре в Тарту, там упомянули такую фразу. — Тут Орленев, извинившись, фразу воспроизвел. — Словарь минимальный, а какое богатство смысла!

Мы посмеялись, повспоминали еще какие-то простонародные выражения, однако все-таки больше всего нам понравилось звучное слово «семиотика». Оно еще довольно долго потом было у нас эвфемизмом: «Он был пьян и семиотически выражался».

\*\*\*\*\*

Прошло черт знает сколько лет. Я уже давно знал, что семиотика занимается знаками и символами, — не я один, разумеется, словцо стало модно вставлять куда ни попадя, особенно после выхода книг Умберто Эко. И вот однажды был я в гостях у моего недавно счастливо найденного дядюшки и вместе с ним отправился в местный знаменитый Йельский университет на экскурсию, а заодно — познакомиться со светилом американской семиотики профессором Горчичем.

Надо сказать, что дядюшка — человек необыкновенной судьбы. Все рассказать про него невозможно, но лет через десять после войны он защитил диссертацию у Якобсона, а во время, о котором я веду речь, заведовал кафедрой славистики в том самом университете. Был он уже сильно немолод и собирался на пенсию, но еще читал лекции и руководил аспирантами.

Университет мне понравился чрезвычайно, хотя он был совсем не похож на родной МГУ. Между лужаек были разбросаны старинного, даже готического вида замки, под деревьями валялись расхристанные студенты, читали толстые книжки, ели бутерброды, целовались и тому подобное. Попетляв между строениями, мы вошли в одно из них и поднялись на второй этаж. Дядюшка увлеченно показывал на потемневшие портреты знаменитых лингвистов, настолько знаменитых, что иных я даже знал по фамилии; впрочем, мне было интересно все — и сводчатые потолки, и витражи, и молельная комната, и малопонятные скульптуры, видимо, работы Мура.

Так, не спеша брели мы по длинному коридору, когда вдруг из-за угла навстречу нам выплыла странная фигура в темном неприметном одеянии.

— Профессор, — обратилась к дядюшке фигура (собственно, это был молодой человек, бледный, темноволосяный и какой-то невыразительный), — могу ли я попросить вас об одолжении?

— Да, да, разумеется, — отвечал дядюшка. Он вообще человек крайне доброжелательный, отчего постоянно становится жертвой различных сомнительных личностей, но тут, разумеется, никакой опасности не было.

— Не могли бы вы передать эту папку профессору Горчичу? Я его аспирант, но не могу его дождаться, а

мне бы хотелось обязательно... — И он понес что-то сбивчивое, однако дядюшка уже протянул руку за папкой, и странный молодой человек, вежливо поклонившись, вручил ее и исчез, даже не могу вспомнить, в каком направлении.

Профессор Горчич был милейшим человеком с седой эйнштейновской шевелюрой, свободно говорил на всех мыслимых языках и совершенно меня заболтал. Я узнал его биографию, историю Балкан за последние сто лет, а также массу анекдотов об основоположниках семиотики, особенно о Якобсоне, у которого он тоже был аспирантом. Знал он и Проппа, и Лотмана, и даже успел застать Кассирера и слушал его лекции. Мы некоторое время сидели в кабинете Горчича, однако затем по его настоянию отправились в местную трапезную вкушать ланч. Я, проголодавшись, уминал здоровенный многоэтажный бутерброд, а профессор, как-то мгновенно прикончив пару ломтей пиццы, продолжал свои удивительные рассказы.

— Знаешь, Душан, — прервал его наконец дядюшка, — при свидетеле тебя еще раз призываю: напиши ты, ради Бога, мемуары! Ведь ты, по-моему, знал вообще всех интересных людей двадцатого века. В конце концов, наука у нас молодая, и даже истории ее еще не написано. Ты имеешь шанс стать первым историкографом, подумай об этом!

— Да, это заманчиво, — согласился Горчич. — Как там у твоего Ленина — «Три источника и три составные части марксизма»? — и захохотал так, что какой-то чернокожий студент в тонких очках, по виду из Африки, скорбно посмотрел на него и покачал сочувственно головой. А я живо вспомнил отца Владимира.

— По-моему, я просил тебя не приписывать мне вашего Ленина! — вскипел дядюшка. — Ты же знаешь, что



мои родные состояли в Бунде и они были принципиальными противниками большевиков! — Тут Горчич притворно извинился, причем было заметно, что подобные перебранки происходят у них нередко. Затем Горчич обратился ко мне:

— Вы будете поражены, молодой человек, но никто ничего толком не знает о происхождении семиотики. Конечно, — он остановил меня предостерегающим жестом, — пишут всякое, но до корней еще никто не докопался.

Я все же смиренно спросил: а как же Пирс, де Соссюр, Потенбня и прочие уважаемые ученые — разве не числим мы их отцами-основателями семиотики? Горчич только махнул рукой.

— Поверьте, не все так просто. Мы с вашим уважаемым дядюшкой внимательно их читали, пришлось в свое время попотеть, Якобсону на халяву — я правильно употребляю это выражение? — экзамен было не сдать. Материала накопилось к началу двадцатого века много, а основной идеи, вокруг которой все начало бы кристаллизоваться, не было. И вдруг через какое-то время появились вполне зрелые работы, как будто прорвало плотину. Но первоисточника найти не удастся. Знаете, бывают такие работы, которые все цитируют.

Я понимал, конечно, о чем он говорит: о трудах вроде «Происхождения видов» или «К электродинамике движущихся тел», на которые ссылаются сначала немногие прочитавшие и понявшие, а потом уже все, просто из соображений приличия.

— Так вот, — продолжал Горчич, — в семиотике такого труда нет. А ведь, согласно законам самой семиотики, должен быть! Тут какая-то загадка. Такое впечатление, что все авторы, особенно русские начала двадцатого века, прочитали что-то основополагающее,

но не цитируют. Уж очень сходные мысли появляются почти одновременно. И почему бы не указать источник из элементарной научной порядочности? Не понимаю, хоть ты тресни! — Он опять заметно разволновался, махнул рукой и отправился за новой порцией пиццы.

Когда он вернулся, жуя на ходу, дядюшка наконец вспомнил о папке, которую во все время разговора держал в руках, и протянул ее коллеге.

— Что это еще такое? — страдальчески спросил Горчич, видимо, просто чтобы потянуть время и дожевать кусок.

— Это тебе просил передать твой аспирант примерно час назад, извини уж, я совсем забыл за беседой.

— Позволь, как это может быть? — Горчич присел на краешек стула и отправил в рот остатки пиццы. Теперь он чувствовал себя не в пример увереннее и протянул руку за папкой. — У меня всего три аспиранта, и я их всех послал на конференцию в Сорбонну!

— Не знаю, не знаю, — отвечал дядюшка твердо, — так он представился, и у меня не было никаких оснований ему не доверять. Может, ты, как обычно, забыл кого-нибудь послать или у тебя есть четвертый аспирант?

— И имя нигде не указано, что за странная манера! Ладно, неважно, — решил Горчич, бегло проглядев содержимое папки. — Тут какой-то обзор литературы, мне все равно некогда этим заниматься, я завтра тоже уезжаю в Париж. Не в службу, а в дружбу — может, ты прочитаешь пока?

Дядюшка, вздохнув, согласился, и вскоре мы расстались с профессором Горчичем.

Вернувшись домой, мы еще поговорили о разном, перескакивая с темы на тему, а затем дядюшка отправился редактировать горящую статью. Мне же он, наполовину

в шутку, предложил просмотреть материалы в злополучной папке. Я начал читать — и уже не смог оторваться.

\*\*\*\*\*

Неизвестный аспирант (имя его не было указано нигде — ни в тексте, ни на обложке), оказывается, интересовался ровно тем же вопросом, что и профессор Горчич: откуда пошла семиотика. Довольно быстро он пришел и к тем же начальным выводам: семиотика возникла как-то разом в годы, непосредственно предшествующие Первой мировой войне, и возникла в работах русских ученых, а именно Якубинского, Поливанова, Щербы и некоторых других, а также в работах поэтов-символистов.

Странный заговор молчания о первоисточнике новых идей как будто окутывал тайной все процитированные труды. Лакуны ощущались почти физически. Сверху они, разумеется, были наспех прикрыты штампами академического новояза, но под ногой зыбко дрожало — знак скрытой глубины. Опасность ощущалась не лексически, а на языке скорее тактильном. Автор, анализируя источники, обнаруживал слабые намеки, сходства, еле сдерживаемое желание проболтаться, неловкие утаивания и тени впечатлений — и на таком зыбком материале, подчиняя его своей не совсем понятной логике, пришел к выводу, что зерно новой науки заронил Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ в начале десятых годов двадцатого столетия.

Вот некоторые цитаты, приведенные неизвестным аспирантом даже без указания авторов, ибо они явно говорили об одном и том же круге идей с отчетливо выраженным центром:

«Слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя».

«Таинственная связь слова с сущностью предмета не ограничивается одними священными словами заговоров: она остается при словах и в обыкновенной речи».

«Говорить — значит не передавать свою мысль другому, а только возбуждать в другом его собственные мысли».

«На символ переносятся свойства символизируемого. И обратно: символизируемое окрашивается цветом символа».

Далее автор записок подробнейшим образом разобрал круг первоначальных идей, постепенно сужая его. Я не в силах кратко изложить его логически изящные, но тяжеловесные грамматически построения, тем более что далеко не все термины понимал. Однако могу сказать, что чтение захватывало и подкупало внутренней убежденностью. Круги постепенно превращались в спираль, с заметным ускорением сходящую к изначальной, редуцированной до голого скелета, мысли, и автор в конце концов привел ее отдельным даже не предложением, а абзацем:

«Всякую фразу можно интерпретировать как угодно, в зависимости от множества причин».

Тут я оторвался от чтения и задумался, поскольку не был уверен, согласен ли я с таким утверждением. Поразмыслив, я нашел ему мягкую интерпретацию (скажем, не просто «всякую», а «всякую достаточно общую фразу»), с которой был согласен. Станным образом это послужило иллюстрацией к самому утверждению. Отложив дальнейшие размышления на потом, я продолжил чтение.

Автор решил все-таки найти более существенные доказательства своей правоты. В поисках документальных подтверждений он обратился к архивам, вна-

чале к вывезенным в Америку, а потом, к моему удивлению, отправился даже и в Россию. Трудно было ожидать подобного рвения от простого аспиранта — но, возможно, ему хотелось поближе прикоснуться к настоящим носителям языка.

Далее отчет приобретает характер то ли дорожного дневника, то ли очерка нравов — и читать его было забавно, хотя бы просто как документальное свидетельство стремительной эпохи 90-х годов. После начальных, с непосредственной живостью дикаря описанных мытарств наш герой получил необходимые допуски и наконец добрался до Петербурга, где и вступил не без трепета под своды местного ЦГАЛИ.

Всех этапов поиска автор не раскрывал, хотя, несомненно, они составили бы материал для добротного детектива а-ля Иракий Андроников, однако в конце концов он нашел письмо Андрея Белого Иванову-Разумнику от ноября 1910 года, которое излагает, к сожалению, своими словами, так как ксерокс не работал, а переписывать несколько страниц от руки ему было лень («запахло», как он сам пишет не без щегольства). Дословно приводит он только несколько первых фраз: «Дорогой друг, не описать, каких удивительных людей повстречал я здесь; за эти 3-4 дня как будто прошел университетский курс филологии, и читал, и разговаривал, и спорил, и размышлял больше обыкновенного втрое; наконец — познакомился с Ив. Ал. Б.-де-К.».

Белый в тот момент жил на Васильевском и захаживал иногда в университет. Там-то он познакомился с кружком филологов, возглавляемым Иваном Александровичем Бодуэном де Куртенэ, пришелся им по душе и присутствовал на одном странном собрании дома у Ивана Александровича, о чем и рассказывает

своему корреспонденту. Собрание было почти тайным, во всяком случае оно не афишировалось, так как тема дискуссии была несколько рискованной — не политически, а, скорее, с точки зрения приличий. Присутствовали только мужчины, в основном филологи, ученики хозяина.

В ту пору Иван Александрович работал над четвертым изданием «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля. Как всем известно, из предыдущих изданий бранная и непристойная лексика была исключена, но Иван Александрович против такой политики решительно возражал: «Если слово есть, оно должно быть в словаре, а как его употребить, зависит от уровня культуры говорящего». Андрей Белый с восторгом приводит рассказанный хозяином анекдот, оканчивавшийся фразой: «Как же так — жопа есть, а слова нету?» — откуда мы узнаем о весьма древнем происхождении популярной истории.

Рассказав слушателям о выделенных им корнях, гнездах и тому подобном, Бодуэн де Куртенэ перешел к самому важному, ради чего и затевался весь разговор. Разбирая пухлые дневники Даля, наткнулся он на запись, которой сам покойный мэтр, возможно, внимания и не придал, а Иван Александрович, напротив, заинтересовался чрезвычайно и размышлял над ней не один день.

Однажды Даль, возвращаясь в Петербург из очередного путешествия, приехал под вечер в богатое, но довольно-таки неустроенное село Волосово, что в нескольких десятках верст от Петербурга, и на глухом заборе дровяного склада у постоянного двора обнаружил известную матерную надпись из трех букв, сделанную дегтем. В одной из досок был глазок от выпавшего

сучка, и Владимир Иванович не удержавшись от соблазна, заглянул внутрь. Как и следовало ожидать, означенного предмета он не обнаружил — внутри лежали дрова.

Даль в дневнике приводит этот случай без особенных комментариев, только сетует на неожиданные плоды грамотности, однако Бодуэн де Куртэнэ крепко призадумался, увидев в незамысловатой истории глубокий и до поры скрытый символизм.

Вот примерно как он рассуждал, в моем вольном изложении.

Стоит на мгновение выйти из круга обыденных представлений, как человеческие поступки и рассуждения потеряют незамутненную ясность и явят наблюдателю свою неожиданную и необъяснимую суть. К примеру, кто и зачем написал краткое выразительное слово на заборе? О чем думал безвестный писатель, какую цель преследовал, какое послание миру хотел оставить? Ведь человек этот выучился грамоте; далее, он, как всякий верующий, осознавал непристойность пикуемого и даже греховность своего поступка — и все же не мог промолчать. Кроме того, где-то добывал он материалы для письма, явно в хозяйстве крестьянском не лишние, тратил драгоценное в страду время, рисковал получить тумаков от хозяина постоянного двора — и зачем?

Что вообще означает указанное слово, будучи написано на заборе? Ладно, в срамной побасенке может оно означать детородный уд со всеми его известными функциями, то есть контекстуально оно отягощено выше всякой меры. А каков его контекст на заборе, посреди неудобной и всем ветрам открытой главной улицы села, да еще рядом с постоянным двором, на котором вообще Бог весть кто останавливается, со всей великой державы, а то и из немецких и иных стран? В каком падеже

слово написано — именительном или винительном? Важны ли расположение надписи относительно сторон света, высота ее (низко или на уровне глаз, а то и вовсе на недостижимой высоте), размер шрифта, тщательность или, напротив, небрежность, естественная или нарочитая? Какое отношение имеет она к самому забору, только ли он бессловесный носитель текста или важная составляющая послания, действующая на неосознанном уровне? Как связано слово с дровами? Стремился ли писатель просто оскорбить глаз проходящих или кого-то в частности? Хотел ли пробудить души соседей когнитивным диссонансом? Или стремился выразить какую-то мысль, которую иными словами выразить показалось ему долго и неточно?

Совсем по-разному звучит написанное слово, если писал его сам владелец постоялого двора, или сосед, или перехожий калика, а то и лихой человек из окрестных лесов, заглянувший на огонек. Оттенки смысла изменяются в зависимости от высоты и окраски забора, времени дня и времени года, содержимого склада за забором, чистоты или грязи на прилегающей к надписи улице, расположения ближайшей церкви, богомольности населения, богатства или бедности губернии, уж не говоря о стране нахождения. То же слово, будучи написано на стене Букингемского дворца, едва ли прозвучит с такой же грустью безысходности, но скорее с оттенком незыблемости и величия, присущими имперскому Лондону.

Итак, понял Иван Александрович, дойдя до логического конца своих рассуждений и обнаружив дальше непаханое поле тончайших оттенков, уходящее за горизонт, не только невозможно понять смысла надписи, но его, скорее всего, и не существует. Единым махом Ивана Александровича, подобно гоголевскому



герою, как будто вознесло на страшную высоту, откуда он увидел огромный, деятельно копошащийся внизу мир филологических понятий.

Он увидел, что слово есть не только символ, но и вещь, а вещь есть в то же время символ; что, говоря, мы стараемся понять себя, а не убедить других; что символика, содержащаяся в слове, окрашивает всякую вещь, к которой мы это слово приложили, — так, изрядный и крепкий забор приобретает некоторую скверность от написанного на нем срамного слова; что мы хотим сказать одно, говорим другое, а слышат люди и вовсе третье. И много чего еще он разом увидел, так что у него даже слегка закружилась голова, поскольку он ощутил себя приподнявшим завесу величайшей тайны.

Лихорадочно, чтобы не забыть главного, принялся он записывать свои сбивчивые мысли, когда понял, что откровение уже совершилось и по-старому смотреть на слова он уже более не сможет. Лишь тогда покой и радость сошли на его душу, и он вместо того, чтобы систематизировать свои рассуждения, потребовал почтовой бумаги и принялся рассылать приглашения на встречу дорогим своим ученикам и единомышленникам...

Сообщение Ивана Александровича было принято сначала с улыбкой и даже с неприличным для ученых мужей прысканьем в кулак, но довольно скоро все присутствующие окрылились новыми идеями и тут же, не расходясь, дали клятву начать научные изыскания в новой, столь чудесно явленной Бодуэну де Куртене области познания. Единственное, о чем просил несколько смущенный Иван Александрович, — не рассказывать, из какого источника так бурно забили новые идеи, чтобы не стать жертвой зубоскальства, особенно

со стороны московских филологов во главе с уважаемым Филиппом Федоровичем Фортунатовым.

Андрей Белый, подробно рассказывая другу о достопамятном вечере, добавлял в конце: «Знаю, что ты не раскроешь тайны; только потому — и потому, что больше никому не стал бы, — рассказываю тебе».

Итак, резюмирует наш аспирант, источником и корнем семиотики следует считать традиционное слово, написанное на заборе дровяного склада близ постоянного двора в селе Волосово и попавшееся, волею providения, на глаза Далю. Сделав такой вывод, автор отправился в указанное село в надежде найти первоисточник и хотя бы сфотографировать его.

Подивившись наивности американского аспиранта, предполагавшего, что в российском селе полтора столетия простоит дровяной склад, я перелистнул страницу. На последних трех листочках, вырванных, судя по всему, из общей тетради, автор рассказывал со всеми подробностями и не без юмора, как доехал он на рейсовом автобусе до Волосова, как долго расспрашивал местных жителей о местонахождении постоянного двора и в ответ слышал искомое слово в различных комбинациях, которые он тут же записывал в блокнот; как блокнот у него отобрали и чуть было не набили морду, однако, распознав в нем иностранца, свели в отделение милиции; как милиционеры, вместо того чтобы взять у него взятку («vzyatka», так и пишет автор), отвели его в горсовет к архивариусу и сей почтенный джентльмен препроводил его к находящейся неподалеку четырехэтажной гостинице, сообщив, что построена она на месте Дома колхозника, который, в свою очередь, был возведен в 30-е годы на месте постоянного двора.

Самой же удивительной находкой его оказался стоявший рядом с гостиницей склад горюче-смазочных

материалов, на грязно-белой бетонной стене которого было написано: «X@Й» (орфография подлинника сохранена).

Автор был поражен проникновением новой символики в жизнь селян и скромно предположил в заключение, что семиотика готова сделать новый виток в своем взлете, уже на основе глобальных информационных технологий.

\*\*\*\*\*

Что еще могу я добавить к моему рассказу? И дядюшка, и друг его профессор Горчич немало были изумлены собранным материалом, однако мы не только так никогда и не нашли загадочного аспиранта в черном одеянии, но даже и не узнали, кто именно был его научным руководителем. А благодаря скверной привычке незнакомца не давать ссылок на использованный материал мы также не смогли отыскать необходимого письма. Таким образом, история семиотики все еще ждет своего официального создателя.